

**Н. А. Вельмина**

## **ПЛЕННИЦА ВЕЧНОГО ХОЛОДА** (главы из книги)

### **Сергеляхские зимы**



**З**имние месяцы в Якутске яркие и солнечные, но очень короткий день: светает в десять, темнеет в три. Без пяти одиннадцатый точно и неизменно над снежным бугром, что между нашими окнами и вышкой, в косых лучах решетчатого от деревьев солнца появляется верхушка дуги, лошадиные уши и усердно кивающая голова небольшой черной лошади. Лошадка рысью одолевает холм и появляется у крыльца в густом белом инее. Из саней, отбросив теплую полость, вываливается почтальон с тяжелой сумкой на бедре. И все бегут в канцелярию, а там письма, письма, приветы и поцелуи, и, кажется, что родные лица – рядом.

У меня хорошая теплая комната с итальянским окном. В окне тройные стекла, а вместо форточки под потолком в стене дырка, открытая круглые сутки. Из дырки, завихряясь белой струйкой, слетает вниз ледяной парок и где-то по дороге рассеивается. Только в очень лютые морозы мы с Никитой Осиповичем, моим соседом по квартире, закрываем ее.

В комнате есть предмет, который я называю «моя радость». Это громадная голландская печь с топкой из коридора. Представить себе ее облик очень просто: впечатление, что в комнату задом въехал большой крытый грузовик и остановился. Печка побелена. Топить ее достаточно один раз в сутки. Она создает уют и обеспечивает мне горячее водоснабжение: вплотную к ней на стене висит простой эмалированный рукомойник, и вода в нем нагревается чуть ли не до кипения – только доливай. Я, конечно, не ставлю в укор своей печке, что под кроватью на стене у пола зимой постоянно живет слой пушистого снега. Подкроватное пространство печке не одолеть – оно внизу.

Обстановка в комнате экспедиционная – раскладная кровать, топчан, покрытый пышным двойным спальным мешком из собачьих шкур, вьючные ящики у печки для приема гостей и, как уступка стабильности жизни, стол, вешалка, стулья и шторы на окнах. Зеленые вьючные ящики напоминают тайгу.

Но зимой мы «сергеляхские пленники», горожане же пользуются всеми благами местной цивилизации. Изредка выезжаем мы в город сообща – в театр, на базар, на вечера в филиал, куда нас постоянно и неизменно приглашают.

В городе зимой от мороза на улицах стоит густой туман, как стена, и то же время проницаемый – как в сказке, видишь стену, но идешь сквозь нее, и она отступает при твоём движении. Света фар хватает на метр, куда едешь, не знаешь. Машина гудит и ползет медленнее пешехода. По тротуару в таком тумане идешь, как слепая, протянув перед собой руку. А у нас в Сергеляхе в это время ясно – в городе много влаги и материализуется она там вот так.

Беда нашей жизни зимой – нехватка кислорода и движения. Уже проектируют на севере города под крышами – там жить будет легче. Но проблема эта общая, только у нас острее. Где бы ни жил человек, на всех широтах и в любом климате, всю огромную инфор-

мацию для работы он должен получать сидя. И так же сидя вынужден отдавать в общую копилку людям свою дань – мысли, идеи, творчество. Какой же выход? Вероятно, он появится тогда, когда будут усовершенствованы человеческие способности восприятия знаний и получены новые методы обработки информации и передачи ее друг другу.

Но зато у нас есть и свои прелести – северное сияние (правда, редкое), «шепот звезд» и кое-что еще. Чтобы услышать «шепот звезд», надо в сильный мороз ночью тихо стоять под ними и слушать – шуршат кристаллы льда, что рождаются в воздухе от влаги дыхания.

И вот однажды – северное сияние. Никита стучит в дверь:

– Скорее на улицу, северное сияние!

Кто-то невероятно высоко показывал световые фокусы, потом развешивал по небу трепещущие текущие ткани. Цветистая глубина вздрагивала незнакомой таинственной дрожью. Небо разгоралось и гасло, бело-зеленое переливалось в розово-красное. Казалось, если хорошо вслушаться, то должна сверху политься тихая, немыслимо прекрасная музыка.

Уже много позже я узнала, что северное сияние, оказывается, в самом деле имеет свой голос, правда, он не нежен и, скорее, схож с грохотанием сверхзвукового самолета. Оказалось, что и породы Луны «звучат как церковный колокол». Значит, не зря говорили люди о музыке сфер! Может, скоро, в самом деле, услышим мы «полет планет», как об этом писал Блок?

Яркие всполохи света показали необъятную глубину неба. Открылся и наш заснеженный простор, и прижатые к земле домики, и черные фигурки людей.

Жизнью у нас зимой правят два главных бога, требующие жертв – печка и вода. С печкой проще. Если заготовить с осени дров, тогда только таскать и топить. А вода... Вода – это лед, нежно голубой, чуть зеленоватый, таинственно поблескивающий в отколе – лед реки Лены.

Чтобы получить такой чудесный лед, его надо выписать в бухгалтерии, оплатить, как простые дрова, – и его, и машину. В назначенный день его равнодушно свалят около дома, там, где укажешь. Пройдут дни, небо засыплет все легким белым, невесомым пухом, и однажды вдруг увидишь, что у тебя под окнами лежит гигантская нездешняя птица, может, упавшая от страшного мороза во время непонятого своего перелета. Откуда? Куда? В разрывах пуха тут и там рассмотришь во множестве светящиеся, чуть потускневшие зеленовато-голубые глаза.

Потом снег ложится гуще. Сказка кончается, происходит превращение необыкновенной птицы в обычную грудку льда. Тогда я решаюсь подступиться к ней со своими нуждами. Я выкалываю лед топором – на страшном морозе глыбы смерзлись и тверды, как кремль, иногда и топор не берет. Таскаю глыбы в кухню. Если взять их без рукавиц, кожа останется на глыбе.

Воспряла я духом, когда заботы о воде и льде взял на себя наш сторож.

Но есть у нас и еще одна забота – это продукты. Станционная машина – для начальства. Подбросят в одну сторону – хорошо, в обе – прекрасно. До пятидесяти шести градусов я ходила в город пешком.

Однажды на пути в город едва не замерзла в километре от жилья. Дома метеослужбы уже остались позади, а до окраины города было еще далеко. На снежной равнине вокруг, как на макете в Музее этнографии, виднелись разбросанные глиняные якутские и корейские юрты с наклонными стенками и льдинками или ситцем вместо стекол. Откуда-то из-за высоких мачт метеостанции неожиданно вывернулась напористая струя ветра.

Я промерзла до костей и поняла, что это не просто слова. Ощущение катастрофы росло. Я пыталась бежать – поздно, похоже, что легкие заполнил тяжелый лед. Бросила на землю сумки и, задержав вдох, каменными руками стала тереть колени, руки и твердое, словно чужое, лицо. Ресницы накрепко срослись с обледеневшим шарфом, и я почти ничего не видела. Остро поняла, как гибли полярные путешественники, не дойдя

## ПЛЕННИЦА ВЕЧНОГО ХОЛОДА

ста метров до человеческого жилья. И подумала еще: а сколько людей, может быть, гибнет или страдает, не дойдя двух шагов до нашего участия...

Как и должно быть, в крайние минуты появились особые силы, не предусмотренные на каждый день, и я добралась до ближнего дома.

Проще и приятнее, когда в город можно ездить на Машке. Машка – это милое, умное, мудрое, терпеливое и великодушное существо. Пусть, как говорят, будет ей земля пухом, хотя она и лошадь! Она навсегда осталась в памяти неразрывно с моей и нашей общей виной перед ней, как и всех людей перед домашними животными.

В свирепый мороз Машка возила нас в город, в филиал Академии наук, где были дела. Выезды в якутский «свет» были для нас единственными отдушинами интеллектуального общения среди сергеляхской отсидки. Машка стояла, привязанная во дворе, и я мучилась, сокращала беседы и многое оставляла до другого раза.

– А почему нельзя покрывать Машку попоной? – спрашивала я Никиту (мысленно я всегда зову его так), он мой постоянный спутник по поездкам в город.

– Уфь! – говорил он. – Это восклицание да еще иногда небольшая шепелявость при выражении удовольствия – единственное, что отличает его произношение якута от нашего (учился он в Москве и по-русски говорит, как мы). – Крадут попоны, два раза крали, не наготовишься.

Меня мало утешает мысль, что доля всех якутских лошадей – мерзнуть в ожидании своих хозяев. Никто их не накрывает и в голову такого не берет, а ведь они так же, как мы, переохлаждаются, простуживаются и болеют, а человек и не знает, когда они больны, запрягает их и погоняет...

Мы выходим из филиала. Машка, обросшая инеем, поворачивает голову и продолжительно ржет. В этом ржании и жалоба, и укоризна, и радость чуть ли не на грани безнадежности – наконец-то! А чужим навстречу не ржет. И сколько раз она напрасно поворачивала голову за те час-два ожидания – ведь двери филиала хлопают непрерывно. Но долго задерживаемся мы крайне редко.

С Никитой ездить хорошо. Он спокоен, добр, хозяйствен, внимателен. Правит Машкой, помнит, куда и когда нам обязательно надо заехать. Придумает еще какой-нибудь нужный и приятный заезд и прибережет это как сюрприз. А скажешь радостно: «Вот хорошо-то, вот спасибо-то!», он только смущенно и довольно улыбнется и, чуть шепелявя, пробормочет:

– Ну, ну, есё тево...

В солнечные воскресенья по розовым снегам к крыльцу нашего дома подкатывают двое-трое саней. В каждых – пара небольших якутских лошадок в снежных кудрях. От лошадок – пар. Якуты привезли из района мороженую свинину и говядину. Вваливаются, весело балагуря по-якутски.

– Хозяйка, мяса бери, мяса нушна, бери мяса. Свинина бери...

Втаскивают тяжелые мешки. От мешков несет космическим холодом. Холод растекается по полу, заливая ноги. Приезжают якуты к нам первыми, потому что тут живет Никита Осипович – якут, научный сотрудник станции. Никита идет за деньгами, и я что-то весело кричу ему вслед.

– Нельзя его так кричать, – осудительно говорит якут, кивая вслед Никите, – он тойон...

«Тойон» раньше означало «барин», «господин», а теперь такое обращение – знак уважения. Конечно, Никита – тойон, а я – только женщина.

По воскресеньям мы с Никитой иногда ездим в город на базар. Однажды Машка, уже запряженная в сани, стояла привязанная к столбу у крыльца. Взяли сумки, мешки. На улице было очень холодно.

– Подожди, – говорит Никита. Мы с ним-то на «ты», то на «вы». – Я возьму вам тулупчик, я-то в кожушке.

Натягиваю тулупчик на свое пальто, садимся в санки – не влезает, сиденье нам узко.

– Утрясемся, – предлагает Никита благодушно.

Утрясываемся.

– Есё, есё, – подбадривает он, подпрыгивая и втискиваясь поглубже.

– Поехали, – говорю я. Он молчит и тихо смеется.

– Машка-то привязана.

Никита дергается раз и два, вылезти не может. Улыбается:

– Юфь. Вот есё...

– Давай я, я легче...

Рвусь изо всех сил – не могу. В окно стучит Людмила, жена Никиты. Она почти лежит на подоконнике: ясно – все видела, предвкушала удовольствие. Людмила выбегает и отзывает Машку...

По хозяйству мне стала помогать наша уборщица Катя. Маленькая, худенькая, тихая, немолодая, всегда в длинноватом платье, с узким и темным лицом и небольшими кристалликами очень светлых глаз. Катя сахалярка – русская с примесью якутской крови. Муж работает рядом сторожем, дома пять взрослых дочерей. Теперь прихожу с работы – чисто, тепло, обед... То есть должен быть обед. Но медлительна Катя необыкновенно. То, что я могу сделать за двадцать минут, катя делает два часа. Это натура, характер и своего рода искусство. Катя многое не доделывает, потом, увидев, почти как-то даже радостно удивляется, не спеша, спокойно возвращается к оставленному, кое-что вообще забывает и никогда от этого не огорчается. Она ровна, приветлива, спокойна и улыбочива.

– Да-а-а, я и забы-ы-ла, а оно тут и лежи-ит, а ду-у-мала я кончила-а-а... – говорит она, безмятежно растягивая каждое слово, и переливает интонациями вверх-вниз.

Я никогда ее не тороплю, ни в чем не упрекаю, не возмущаюсь – пусть человек будет таким, какой он есть.

– У вас крепкие нервы, – говорит Людмила.

После каждой стирки недостает одного чулка или пары. Катя честная, и я уверена, что она выплескивает их с водой.

– Ка-а-к, опя-ать не-ету? – искренне удивляется Катя. – А я вро-оде их ви-и-дела вчера...

Людмила ухмыляется. Смеяться при Кате мы не решаемся – она может обидеться.

Как-то мне привезли в подарок свежих карасей. Здесь я их не видела. Идя с работы, предвкушаю удовольствие. Катя обычно обедает со мной. В теплой комнате вымыт пол, пахнет уютом и чистотой. Катя что-то доделывает, стоя ко мне спиной, и приветливо здоровается.

– Как караси, Катя?

– Караси-и? Хорошо-о-о... сейчас есть будем.

Черные брусочки на сковородке меня настораживают. Подозрительно толстые, пахнут неаппетитно.

– Катя, вы их не чистили?!

– Не-ет, – радостно подтверждает она, не оборачиваясь.

– Значит... и внутренности... там?

– А ка-ак же, ка-ак же, ко-онечно, та-а-м... и она поворачивает ко мне довольное лицо.

Приготовила она карасей по-якутски. Конечно, их я не попробовала...

Живя здесь, мы заимствуем кое-что хорошее из века минувшего – пишем пространственные письма. Наш двадцатый век сильно отличается от века девятнадцатого не только высоким уровнем техники и открытыми наукой чудесами, мы не только приобрели, мы многое и потеряли. Тогда говорили: тот день пропаший, когда ты не узнал что-то новое. Человек, читая газеты, книги и письма (а писали их тогда друг другу чуть ли не каждый день и даже соседям по дому!), общаясь с друзьями, все внутренне перерабатывал, анализировал и часто излагал свои впечатления и мысли в письмах. Эпистолярное общение процветало.

Теперь, особенно в городе, все преимущественно слушают и смотрят. Свои мысли высказывают обычно друзьям по телефону, и то при случае. Как в море ил, все оседает на

## ПЛЕННИЦА ВЕЧНОГО ХОЛОДА

дне человеческого существа, а отношение к увиденному и услышанному не успевает родиться. Каждый день пропащий, когда некогда задуматься.

А здесь все имеют возможность предаться раздумьям и размышлениям и вернуться в эпистолярный девятнадцатый.

Иногда поздно вечером, почти ночью, я выхожу на крыльцо – хоть немного вдохнуть обжигающего воздуха. Полыхают звезды, светит медная Луна, будто надраенная матросом-новобранцем. За смутно мерцающими снегами, на черном фоне леса, как огоньки близкой деревни, светят окна конторы – кто-нибудь всегда сидит там, пишет отчет или письма домой – каждый в своем кабинете.

Очень ясно в такие минуты на Земле. Очень тихо и очень одиноко.

В марте, если я еще не в экспедиции, что редко, на термометре уже только минус тридцать, я становлюсь на лыжи. По сверкающему насту, по холмам, затвердевшим под зимними ветрами, в снежные леса! Со встречных сосен вслед за мной слетает легчайшая белая кисея и закручивается крылатыми шлейфами. За пять минут добегаю до «своего» дерева. Прихотливо изогнув толстые сучья, низкорослая сосна создала удобное раскидистое кресло со спинкой. На нем можно посидеть, сбросив лыжи. А летом или осенью в нем хорошо читать, думать и слушать перекличку кукушек.

Весна в Сергеляхе пленительна. Густо цветет шиповник, боярышник, среди перелесков синеют озерки молодых ирисов. Невысокие сосенки покрываются мягкими бурокрасными шишечками, лиственницы выбрасывают свои юные метелки-свечечки. Идя к соседу, можно наблюдать, как нахальные кукушки, отцы, раздувая перья и неистово кукуя, подпрыгивают ближе и ближе к гнездам птиц, где задумано вырастить дитя, а сейчас дать возможность подруге положить яйцо. Наступательные подскоки сопровождаются наглыми «ку-ку... ко! ку-ку... ку!». Хозяйка, не выдержав, улетает.

Белыми июньскими ночами, когда перед сенокосом приходит якутский праздник Ысыах, с Чучур-Мурана (коренного берега Лены), что виднеется вдалеке над лесом и кажется грядой невысоких гор, почти до утра слышится хоровое пение якутской молодежи.

Наверное, Якутия – единственное место в мире, где слова начинаются на букву «ы». Когда я, года за два до этого, застряла в бестелеграфной глуши хребта Джугджур, мама, получив наконец в Москве мои телеграммы из Ыныкчана, волнуясь добивалась истины у почтальона – не может быть такого места, что начинается на «ы»! Успокоение дала карта – таежный Ыныкчан был на карте.

Летом работники станции в экспедициях – на Яне, Индигирке, в устье Лены, на Лено-Амгинском междуречье. Я самая ранняя птаха – выезжаю в конце зимы, приезжаю же позже всех. Без меня Якутск богатеет дарами теплых верховий Лены – смородиной, луком, морковью и всем тем, что можно успеть на ленских пароходах. Но, конечно, Никита запасает для меня мешок кочанной капусты, он же зовет Катю, чтобы к приезду был вымыт мой кабинет, убрана и протоплена комната в нашем доме.

## Две Мулатки



Э

ту историю, сидя в кабине моей грузовой машины, рассказал мне геофизик Деев. Грузовик приткнулся к обочине дороги недалеко от будки Беркакит. Шофер, расставив циркулем ноги, стоял на полотне, дожидаясь коллегу и намереваясь перехватить его для помощи.

– Мы с Эммой тогда только еще поженились. Это была наша с ней первая экспедиция. Она была похожа на мулатку – загорелая, с длинными, чуть косо поставленными глазами. Ветер и приволье быстро восстанавливают в женщинах лучшее, что дала им природа. Я думаю, им это нужно больше, чем нам. В Эмме появилась гибкость и быстрота движений, которых я давно не замечал, они утратились в городе. Я сказал ей это. И еще я сказал:

– Знаешь что? Назовем эту речку Мулаткой – в твою честь. Она пока безымянная, это маленькая таежная речка. На карте ее нет, а мы напишем это название, так и пойдет. Пусть это будет подарок тебе.

За двумя перевальчиками, километрах в двадцати, на другой реке у нас осталась лодка с мотором, два ящика с образцами, два тюка с теплыми вещами и продуктами. К условленному месту на Лене, а до нее оттуда сотни две километров, катер нашей экспедиции должен был прийти недели через две. Не застанет нас, придет еще через две, потому что за это время нас могут «подобрать» газавики. Так мы договаривались.

Эмма, лазая по крутым склонам, неожиданно повредила ногу – прыгнула с пня, мох под ее ногами сорвался, так как под ним лежал лед, зацепилась за невидимый корень, упала лицом вниз, а заземленная нога вывернулась. То ли вывих, то ли растяжение, не знаю, нога опухла, вправлять и распознавать я не умею, Эмма тоже. И мы засели. И грянули холода. Ночи – стынь. Кусты почернели, трава пожухла как-то сразу, все стало коричнево-бурым, и небо провисло пластами грязной шерсти.

– Твоя Мулатка мне не нравится, – сказала Эмма.

Я наломал и наколол горы валежника. Хорошо, что не было дождей, даже стало ясно, но начались морозы. Эмма попробовала было идти, прошла несколько шагов, опираясь на мою руку, побледнела, и лицо ее покрылось каплями.

– Не могу, – и она тяжело опустилась на кочку.

Начался октябрь. Первый заход катера мы уже пропустили, оставался только контрольный. Надо выбирать. Одному мне вещи не осилить, даже если Эмма пойдет самостоятельно, с палкой.

– Как-нибудь, – говорила она, – доползу.

– Двадцать пять километров не проползешь. Да еще в гору, да через два перевальчика, хоть и небольших.

Мы просидели на берегу этой чертовой Мулатки почти две недели. Продукты растягивали почти до блокадной нормы. Снега не было, но стало солнечно, ночные холода усилились. Морозы в два – пять градусов чепуха, но ветер крутился ужасный, и неподвижно сидящей Эмме было нелегко. Я все же был в работе. И думал не раз: а вдруг речки stanno?

С большим трудом мы все же двинулись. Подъем на первый перевальчик стоил нам невероятных усилий, хотя опухоль ступни уменьшилась. Наступать она как следует не могла. А спуск для нее оказался еще мучительнее!

Мы переходили жесткие подмерзшие уже мари, в которые коварно проваливались ноги, и Эмма жалобно кричала. На пятый день настал час, когда мы подошли к месту, где осталась наша лодка.

## ПЛЕННИЦА ВЕЧНОГО ХОЛОДА

Но лодки не было – берег обрушился, и развал земли тянулся от обрыва до самой воды. От берега к воде наискось лежала громадная ель. Ее падение все и сделало. В обрыве был грязный подземный лед; очевидно, его размыло водой в последние паводки. Это и послужило причиной обвала берега.

Как ни был я потрясен случившимся, я не мог не показать Эмме этот подземный лед в обрыве. Вероятно, когда-то завалило землей речную или береговую наледь или снежник.

На бечевнике между глыбами мутно блестящего льда и слякоти расплзающейся земли валялись кое-какие вещи. Я подобрал ящик с образцами, один из двух тюков с теплой одеждой и один из двух рюкзаков с продуктами. Не было пилы и некоторых мелочей. Но главное – не было лодки.

В первый момент удар не показался мне страшным. Суть катастрофы дошла до меня позже. И все острее сверлила мысль – идти с Эммой сотни километров и переходить десятки рек с ледяной водой невозможно. Ждать ледостава? Холодно и голодно. И что он даст – ледостав? Ждать, когда нас станут разыскивать? Я согласен надорваться, но не допустить этого. Но надо подбодрить Эмму. Не показать беспокойства.

Я сказал весело:

– Ничего, топор есть, палатка есть, продукты еще есть. И ружье есть.

И тут вспомнил, что ружья я не нашел. Оно оставалось в лодке, прикрученное и связанное со всем грузом. А на Мулатку я вместо ружья взял палатку.

– Начались морозы, и идет октябрь, – говорила Эмма и ежилась.

– Не пропадем. Топлива кругом полно, жаркий костер обеспечен, а за три недели с голоду умереть невозможно. В крайнем случае начнем голодать и избавимся от всех болезней, возможных и невозможных.

И вдруг произошло неожиданное – вода в речке начала подниматься. Без дождя, без снега. Она покрыла береговые валуны и полезла выше. Ей же, черт возьми, положено спадать, тащить к морю последние свои крохи, покрываться льдом, но не подниматься же, как в паводок!

Я пошел вниз по берегу посмотреть, в чем же дело. Заготовил для Эммы дров, разжег пожарче костер и двинул. И почти тут же, когда за изгибом реки скрылся костер, я у самой воды в полузамерзшем песке увидел чуть удлиненные волчьи следы. Хотел вернуться, но подумал, что на громадный костер серый вряд ли пойдет.

Пошел дальше. Речка бежала рядом проворно – по-летнему. Потом она немного поворачивала на север, и тут я увидел в воде длинный белый предмет. Он неподвижно лежал на дне. Я подошел ближе – белое тянулось из реки и подходило к берегу. Это был лед. Лед лежал плоской плитой и, казалось, прирос ко дну. Почти все валуны вблизи берега были покрыты сероватым лунно блестящим льдом. На выступах камней под водой сидели громадные снежные хризантемы.

Я сломал палку, подобрался ближе и ткнул ею ледяную массу. Палка прошла насквозь легко – лед оказался пористым и был насыщен водой. Вдруг вода забурлила, что-то заворчал в глубине, я аж подпрыгнул, и в хаосе пузырей наверх выскочили две громадные ледяные туши.

Да, это был донный, или подводный, лед. Я знал, что он существует, деталями не интересовался и встретился с ним впервые. Эмма до нашего знакомства, мне было известно, работала по искусственным подводным льдам в лаборатории в Ленинграде.

Дальше вниз под водой высвечивались пышные белоснежные кораллы. Было это умопомрачительно красиво. Я вспомнил, Эмма говорила, что в Ленинграде были даже аварии от закупорки этим красивым льдом приемных решеток водопроводных станций. Я-то видел только шугу на реках и в море, видел «сало» на поверхности воды, густые «снежики» в воде от падавшего снега, но все это было не то.

Я бил палкой по лежащим на дне пластинам льда, отковыривал снежные кораллы, все всплывало с шорохом и ворчанием и слипалось наверху в ледяной покров. Я порадовался: река, возможно, скоро станет, и мы пойдем по льду. Плохо, тяжело, долго, но лучше, чем сидеть. Рыхлые ледяные пластины и глыбы все всплывали вокруг, будто я их по-

тревожил. И забавно, что глыбы эти по граням и ребрам, как когда-то подушки у купчих, обросли кружевами-оборками из пластинчатых кристаллов. Кружева-оборки висели лохмотьями сантиметров по шесть и больше. Лед продолжал всплывать. Я прикинул – высота глыбы до метра. У берега кое-где лежали крупные ледяные «крабы», или еще неизвестные биологии существа, с клешнями из кристаллов – валуны в ледяных корках. От течения казалось, что клешни шевелятся.

Еще ниже по течению дно реки было выслано льдом, местами лед вылезал на берег, и речка текла по ледяному руслу. В одном месте река прихватила своим разливом кусок подмытой маревой кочки с осокой на макушке. Осока в воде проросла сверху донизу насквозь округлыми пластинками льда до сантиметра в диаметре. Я подбил одно такое «произведение искусства», и оно расколосось, как стеклянное. Пластинки тоже были прозрачны и тверды, как стекло. Какое разнообразие! То мягкий лед, как снег, то мох, то кораллы, то твердые ледяные плиты на дне, а тут тончайшие изделия из стекла.

И вдруг я увидел большое нагромождение льда поперек реки. Оно вылезало со дна и создавало ледяную плотину. Здесь были крепкие и рыхлые куски. Все это, очевидно, и подняло реку и вызвало наводнение без дождей. Вода хлестала сквозь плотину и местами обрушивалась через верх водопадами.

Я поспешил к Эмме.

Немного не доходя до лагеря – ближе, чем когда я уходил, опять увидел следы волка, и сердце мое упало. Следы крутились на илистом песке и уходили на галечник. Я побежал и, если все в порядке, решил Эмме о следах не говорить, чтобы не беспокоить.

Вид у Эммы был испуганный.

– Я думала с тобой что случилось. Мы должны немедленно убираться отсюда, если не хотим пропасть. Может начаться ледостав.

Я рассказал ей, что видел, добавил – ледостав не худшее, что нас может ждать. Ящики мы оставим здесь, спрячем, а зимой мы или еще кто заберет их. Палатку мешок и продукты понесу я. Она – топор. Но мою жену не надо было подбадривать. Ей и до меня приходилось не раз бывать в передрягах.

– Мы пробьемся, это факт, – сказала она. – Мы же вдвоем. Ноге лучше.

Я сдвинул костер и перенес на его место палатку.

Вечером, лежа в мешке, Эмма просветила меня относительно донного льда. Этот лед, по ее словам, есть везде: в Европе, Америке, в Сибири, чуть не все речки там полны им. Кто бы подумал! Иногда донный лед – чистое бедствие. От осенних заторов в реках почти на всю зиму вода поднимается и затапливает поймы. Толщина льда на решетках водопровода – надо же – достигает полутора метров, и бывает, что поднять его краном невозможно – лопаются тросы.

Двести с лишним лет пытались люди разрешить загадку образования этого подводного, или, как его иногда называют, внутриводного, льда. Вот какая история! Сколько было гипотез, и как ошибались даже известные всему миру физики! Мираж авторитета задержал разрешение проблемы чуть ли не на сотню лет.

То считали, что главное – это радиационные излучения, то – что снег или лед заносятся внутрь с поверхности воды, то – что лед как бы растет снизу, на дне. Но опыты показывали, что боковое промерзание очень мало – километр на тысячу лет. Ну, а на Ангаре, например, такой лед образуется за какой-нибудь час. Вот и увяжите все это! Главное же – полагали, что кристаллизация внутри воды невозможна.

Сотни исследователей во всем мире дни и ночи вели наблюдения – за температурами воды и воздуха, ставили тысячи опытов в лабораториях. Как много трудились люди, чтобы докопаться до тайны и выразить, в конце концов, суть ее в нескольких строчках: донный лед образуется внутри воды от ее переохлаждения, от сильного перемешивания при ветре, особенно если есть какие-либо ядра кристаллизации – пыль, песок или тот же снег...

Скрытая теплота, что выделяется при кристаллизации, уносится вихревым течением. Кристаллы оседают на дне и выступающих предметах. О, я видел все это собственными глазами...



## ПЛЕННИЦА ВЕЧНОГО ХОЛОДА

Ночь была трудная. Я несколько раз вылезал из палатки, перетаскивал костер дальше, а палатку – на место костра. Хорошо, что мы разорились на пуховый спальный мешок. Спать, однако, почти не пришлось.

Эмма вспоминала и об опытах с переохлажденной водой. Для меня эта переохлажденная вода была новостью. Хуже всего, оказывается, кристаллизуется дистиллированная вода, в ней нет этих самых, как она говорит, центров кристаллизации. Поэтому они ее и применяли для своих опытов. Переохлаждали они что-то до минус двадцати четырех градусов. Другим как-то удавалось даже до тридцати шести – это пресную-то!

Эмма хотела потащить меня и дальше в дебри пересыщения растворов, зарождения кристаллов и проблемы переохлаждения жидкостей вообще. Все это, конечно, интересно, но я чувствовал, что мы вот-вот совершенно заведем, и занялся костром поосновательнее. Предутренние часы мы просидели у костра.

Утром я пошел мерить температуру. Намерил всего минус восемь десятых градуса! Всего! Воздух минус четыре. Ветер сильнющий.

Позже Эмма показала мне на реку.

– Там что-то плавает посреди речки. Пойдем поближе.

Глаза у нее что надо, не то, что мои. Мы подошли к самой воде.

– Черт те что, – сказал я. – Камни. Ей-богу, плавают камни. Как это – плавают камни? А вокруг ледяное месиво.

– Значит, здесь тоже донный лед, – отозвалась Эмма. – Просто здесь глубже, и ты его не видел. Он накопился там, всплыл и вынес наверх камни. Это обычно.

Такая работенка у этого льда, оказывается, тоже возможна. Он натаскивает из таких поднятых со дна камней целые острова, а другие острова растаскивает и уносит, меняет дно реки и контуры берегов. Тоже мне творец!

Я надел другие очки. В середине реки крутилось что-то темное и длинное. А Эмма закричала:

– Наша лодка! Это наша лодка! Значит, ее не унесло. Ну да, она лежит килем вверх. В середине я вижу красный мазок – у тебя остался сурик после разметки ящиков и ты без толку мазнул по днищу, помнишь?

Эмма глубоко дышала от волнения, потом она схватила меня за рукав и сказала шепотом:

– Если ты достанешь оттуда лодку, я буду уверена, что с тобой в жизни не пропаду...

Вот оно что. Я должен ей на втором году супружества доказывать, что она со мной не пропадет! Но самое главное, что донный лед вытянул наверх нашу лодку! Значит, ее перевернуло, и она сразу пошла на дно, иначе ее унесло бы течением.

Я развел два громадных костра. Эмма села греть для меня мешок и белье, а я влез в воду как был, во всем, завязал только потуже веревкой голенища резиновых сапог и прыгнул в воду на спасение себя и своего счастья.

Течения почти не было, да еще плотина его притормозила. Холод полностью сковал меня в самый трудный момент, когда я, обхватив лодку заледеневшими руками за край, попытался подтащить ее к себе. Лодка не двигалась. Ее держала ледяная каша. Вода была мне чуть выше пояса. Я набрал воздуха, собрал все силы, навалился грудью на лодку и стал толкать ее в сторону берега. Тяжелили льдины, но они же держали лодку на плаву. Когда лодка задела дно, я не выдержал и выскочил на берег. Отдышался, коченея, и вдруг понял, что если сейчас же не влезу снова, я ее там и оставлю. Не решусь лезть во второй раз ни за что. И я снова вошел в воду, рванул лодку что было силы и наполовину выволок на берег. Мотора, конечно, не было. Весла мы, уходя, спрятали в кустах, и они были целы.

У костра я снял сапоги. Мне казалось, что сердце у меня превратилось в лед, как у того мальчика в сказке. Потом я стащил одежду и забрался в нагретый мешок. Эмма налила в бутылку от коньяка горячего чая и убеждала меня, что это чай с коньяком.

Пока я лежал и приходил в себя, Эмма взяла топор и, прыгая, с палкой направилась к лодке. Стала обкалывать те спасительные куски льда, что вытащили лодку наверх. Она

сильная, моя жена. Но лодку надо было еще перевернуть и посмотреть, что там внутри. Когда я тащил ее, засунув руки под борт, мне показалось, что льда там нет.

Через три часа мы с огромным трудом перевернули вдвоем лодку, свернули наш ледовый лагерь, погрузились, я навалил на корму запас сушняку (неизвестно, где мы останемся) и столкнул лодку в воду – времени терять было нельзя.

И тут случилось странное – лодка почти мгновенно обросла льдом снова, правда не сильно.

– Я этого боялась, – сказала Эмма. – Нам надо постараться проскочить ту плотину, пока она не обросла совсем.

Но еще более невероятное творилось сзади. Я обомлел – за лодкой прямо в воде на глазах возникал ледяной туман. Вода густела и превращалась в ледяную кашу.

– Греби, греби, – кричала Эмма. – Греби скорее, потом я тебя сменю.

Я налег на весла и с ужасом увидел, как весла покрываются сонмищем острых иголок. Иголки торчали на веслах, как колючки на кактусах, только их становилось с каждой секундой все больше.

Гребя, я согрелся и наслаждался теплом, но грести было невероятно трудно. Потом все произошло быстро и непонятно. Мы с Эммой все осознали позже. Мы как-то пропустили ледяную плотину – вода шла поверх нее – и небольшой водослив среди белой мешанины не заметили. Днище заскрежетало, лодку свернуло на бок, с кормы в реку полетел весь сушняк. Эмма закричала, нас подбросило и почти тут же выпрямило по ту сторону плотины. Лодка шлепнулась там, как на поролоновый матрац, и прошла даже без моих усилий метра полтора. От одного весла отлетела половина лопасти. Я начал выгребать так, как будто с неба каждую секунду могла упасть железная завеса и отгородить нас от мира.

Через полчаса льда под нами поубавилось. Вечером у костра я сказал:

– Я назову эту лодку тоже «Мулаткой» – мы поработаем на ней еще года три.

– Тогда назови ее «Две Мулатки».

– Почему это? Кто же вторая?

– Ведь Мулатка – прежде всего память о реке. За речкой право первенства. За лодкой – забываемые дни.

Я согласился, но задумался.

– А тебе не кажется, что в этом названии есть какая-то двусмысленность?

– Не больше, чем в твоем предложении, вообще. Я-то русская. А лучше назови ее «Две Мулатки и серый волк».

И посмотрела лукаво.

Вот оно что. Понимаете?

А по дороге все еще не прошла ни одна машина. Мы вылезли из кабины и закурили.

